

Константин Николаевич Леонтьев

Благодарность



Константин Николаевич Леонтьев

Благодарность

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7608095

Аннотация

«Жил в одном губернском городе очень добрый учитель немецкого языка, Федор Федорович Ангст. Ангсту было сорок семь лет, и он был холост. Всем известно, что немец осторожен и сбережет себя на чорный день скорее, нежели кто-нибудь из прочих наций. Если б не легкая проседь в светло-каштановых волосах его, многие дали бы ему только тридцать семь лет. Но свежая наружность его была дряхла сравнительно с его сердцем. Такое сердце вряд ли часто придется сохранить и быстрому французу, и итальянцу, у которого, говорят, огонь горит в жилах. Сам я не видал итальянцев...»

Содержание

I	4
II	15
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Константин Леонтьев

Благодарность

I

Жил в одном губернском городе очень добрый учитель немецкого языка, Федор Федорович Ангст. Ангсту было сорок семь лет, и он был холост. Всем известно, что немец осторожен и сбережет себя на черный день скорее, нежели кто-нибудь из прочих наций. Если б не легкая проседь в светло-каштановых волосах его, многие дали бы ему только тридцать семь лет. Но свежая наружность его была дряхла сравнительно с его сердцем. Такое сердце вряд ли часто придется сохранить и быстрому французу, и итальянцу, у которого, говорят, огонь горит в жилах. Сам я не видал итальянцев.

Последнее время Федор Федорович оставил казенную квартиру, которую давала ему гимназия за то, что, кроме должности учителя, он правил еще и надзирательскую должность, — и поселился в своем коричневом домике, купленном за полторы тысячи серебром.

Эти деньги были частью того капитала, который получил он в наследство от старшего брата, скончавшегося в Гамбурге. Многие советовали Федору Федоровичу пустить эти

деньги в обороты; другие уговаривали ехать в Москву и предпринять там преподавание в самых широких размерах, завести пансион, или что-нибудь в этом роде.

Федор Федорович упорно отстаивал свое мнение и находил лучшим просто положить капитал в ломбард, купив на некоторую сумму домик.

«И притом, – возражал он, потряхивая слегка правою ногой, – я так люблю этот город: я в нем жил пятнадцать лет!»

И эти слова говорил он всякому, хотя только немногие могли запомнить то время, когда Федора Федоровича еще не было в городе.

Один небогатый помещик, давным-давно совсем обрусевший лифляндец, который хорошо знал и любил Федора Федоровича, потому что коротким с ним людям нельзя было его не любить, сказал ему раз, убеждая его ехать в Москву, «что это он все пустяки возражает!» И прервав свою озабоченную ходьбу по комнате, вдруг остановился перед ним и вскрикнул ему почти в ухо: «Ты можешь быть профессором, чорт возьми!» Потом, слегка ткнув его концом чубука в грудь и откинувшись назад, посмотрел на него такими страшными глазами, что Ангст испугался. Федор Федорович поколебался, несмотря на всю твердость своего характера: так опасны для человека отвсюду сыплющиеся и громящие мнения и соблазны! Наконец личные убеждения взяли верх над всем, и он остался. Самый лучший из его приятелей, русский старый чиновник, похвалил тогда его решение следую-

щими словами:

– Так-то, брат, лучше. Доживай-ко с нами... или хоть до моей смерти побудь... Оно лучше, знаешь, у нас теплее; как-ково ни на есть, а все теплее... Это так! Да и метода твоя устарела... Куда тебе в столицу, там все молодежь, небось... забидит тебя вконец. А здесь и уроков у тебя с каждым годом все больше и больше... Теперь, если б ты был женат и за женой еще капиталец взял, так вместе с своим отчего ж бы пансион не затеять, хоть здесь, хоть в Москве... а то ведь метода твоя устарела!

После я вам скажу, отчего старый Васильев так желал, чтоб Федор Федорович остался.

Что касается до Ангста, то он долго думал, зачем Николай Николаевич дерзко отзывался об его методе. «Чем же моя метода, – говорил он, – устарела?»

Но способность задумываться по целым дням лежала в натуре Федора Федоровича.

В нем было много странностей.

Домик был очень удобен. Все было близко от него: и учебное заведение, при котором он состоял, и рынок, и лавки, и самый частный пансион, где было самое доходное место Федора Федоровича. Но местоположение его было грустно, на конце глухого переулка, упировавшегося в крутой берег огромной лощины, где со всех сторон сближались огороды соседних мещан и купцов; за лощиной на далекое пространство громоздились перед глазами крыши лачужек и домов: только

местами темная масса их разнообразилась или светло-зеленою крышей, или группой древесных верхушек, поднимавшихся с какого-нибудь палисадника, или наконец колокольней, то новою, с сверкающим шаром наверху и крестом, то живописно-дряхлою, покрытою мелкими окошечками.

Стены дома были темно-оранжевые, ставни белые. На этом цвете стен, удобном для грунта, резко выступали разные растения и кустики палисадника, разведенного недавно самим немцем, придавая необыкновенно пестрый вид и без того яркому домику. Самые мальвы, такие грубые вблизи, были очень кстати с своими теньвыми цветами, восходившими от бледно-бланжевого до прелестного густо-малинового цвета.

Внутри все было чисто, начиная от желтой залы и голубых ширмочек на ее окнах, до маленького кабинетца, в котором Федор Федорович клеил коробочки, баулы, рамки, лил из металлов разные вещи и золотил то к Святкам Для детских елок орехи, то яйца к Святой неделе.

И никакие тревоги, казалось, не проникали ни в желтую залу, ни в кабинет, где он клеил, золотил и лил. Везде он был один и тот же, высокого роста и немного полный, с широкою головою, белокурыми волосами, слегка поседевшими больше от головной боли, которою он часто страдал, длинным прямым носом, с улыбкой, имевшею луч сарказма, как будто озабоченными беглыми светло-голубыми глазами, молчаливостью и беспрестанно трящеюся правою ногою.

Читал он вообще немного, хотя и любил сказать иногда ни с того, ни с сего: «Эти науки!.. Удивительно! с тех пор, как я стал изучать науки, сейчас увидел, что все в жизни пустяки!» И долго после этого он с тонкостью смотрел на своего собеседника, желая прочесть на лице его тот страх, который может навести на всякого человека мысль, что все в жизни пустяки, даже самая философия, которая все это открыла.

В класс он никогда не опаздывал. Только раз пришел полчасом позже, и этот случай так замечателен по своим последствиям, что нельзя прейти его молчанием; это еще было до покупки дома.

Федор Федорович, по обыкновению, услышав звонок со двора частного пансиона, отправился в класс.

Он пришел уже в ту комнату, где стоит водоочистительная машина для воспитанников, не знающих урока, и сторож снял с него пальто.

– Ты повесь его! – заметил немец, подозрительно глядя на него.

Угрюмый сторож, который, по причине своих толстых подошв, совсем отвык употреблять пятки и, казалось, не ходил, а механически стремился вперед, – повесил пальто.

– Ты не замарай его, – присовокупил немец. Сторож провёл по одежде рукою, как бы заранее счищая с нее всякую дрянь.

Федор Федорович пошел было, но вдруг детский крик раздался в стороне столовой.

Потом послышалось что-то вроде мольбы и рыданий. Потом все смолкло.

Поняв, в чем дело, и, повинувшись внутреннему влечению, Ангст пошел на голос, отворил дверь и увидел приготовления к известному всем процессу, так часто бывающему в школах.

Содержатель пансиона, заметив его, махнул сторожам, которые держали за руки белокурого и хорошенького мальчика лет тринадцати, и обратился к нему.

– А! – сказал он, – Федор Федорович! что вам угодно?

– Извините, вы хотели познакомиться с Лессингом, вы просили, чтоб я вам достал... Но я не мог. Я достал вам Бюргера.

– Очень, очень благодарен... Мы зайдем с вами наверх, а пока извините...

Потом прибавил по-немецки:

– Надо кончить эту печальную обязанность.

Федор Федорович взглянул на мальчика. По розовым щекам, до половины ушедшим в воротник, текли горькие слезы, слезы раскаяния и страха. В голубых глазах бедного ребенка Федору Федоровичу показалось столько страстной мольбы, столько отчаяния, что он, после минутной задумчивости, трясая ногой, начал следующим возгласом:

– Аа! это маленький Цветков. Вы его простите, Петр Петрович, он еще вчера обещал мне хорошо учиться.

– Помилуйте! у него пять единиц! Слышишь, Федор Фе-

дорович просит за тебя?!

– Федор... – начал было Цветков, но рыдания отняли у него голос.

Ангст попросил еще по-немецки, и инспектор, человек весьма мягкий, улыбаясь, взглянул на мальчика.

– Петр Петрович... Осокин меня толкнул. А я не виноват, ей-Богу, нет! Осокин меня толкнул, а я закричал...

– Довольно, довольно, – прервал содержатель, – ступай, глупенький, да смотри!

После этого, не слушая благодарности Цветкова, он взял Ангста под руку, и они ушли, а мальчик с различными козлами бросился вон из комнаты так радостно, что солдаты разжалобились.

Это жизнь-то их, право, господских детей! – сказал один, отодвигая скамью. Ведь, что еще за беда, что Дитя малое не выучилось?... Эх, право! и сечь на примерча нечего... Весь-то он сам, вот!

И он отмерил на огромном пальце такую часть, которая и вправду была немного менее Цветкова.

– Ну их! – отвечал другой, поласкав ус.

С этого дня незаметная, но несокрушимая связь связала Ангста с Цветковым.

Немец не забывал спасенного им мальчика, да и трудно было его забыть. Каждый день караулил его Цветков где-нибудь на повороте коридора, или в дверях, или на лестнице, и кланялся ему, осведомляясь о здоровье.

Федор Федорович, в свою очередь, останавливался перед ним с доброю улыбкой, хитрым взглядом и, лукаво потряхивая ногой, говорил:

– Ну что, Цветков?..

Когда мальчик еще подросток, учитель стал брать его к себе на праздники и воскресенья и кормил так, что он терял аппетит на весь следующий день.

Прошло пять лет. И много, много умудрилось убежать воды с этого дня спасения и новой дружбы. Доброго и художавого содержателя пансиона не было уж в живых: на месте его воздвигался другой, пониже и потолще, несравненно ученийший.

Многих из приятелей Федора Федоровича тоже не стало. Энергический лифляндец не мог уж дружески стукать Ангста чубуком, потому что, продав именъишко, удалился в Москву доживать у замужней дочери свои бесцветные дни.

В самом же Федоре Федоровиче произошло мало переменны, только немножко прибавилось седин; и все же их было гораздо меньше, нежели белокурых волос.

Но никто не мог перемениться в эти пять лет, как переменился Ваня Цветков: из маленького и розового мальчика он стал высоким блондином, с крутою грудью, жестким кулаком и такими здоровыми мускулезными членами, что им, казалось, была тесна школьная одежда, они как будто вечно рвались наружу куда-то вширь, и выражали свое рвение то разорванным сукном под мышкою, то расплзшимся рука-

вом; только лицо его осталось по-прежнему с мелкими, почти детскими чертами и ничего не умело выразить, кроме натянутой суровости и весьма не похожей на нее боязливой конфузливости, которую, впрочем, совсем не сознавал в себе молодой человек, а напротив того, был убежден в неизменной мужественности своей физиономии. Это убеждение имело своим следствием то, что он постоянно мечтал о военной службе и готовил себя, во что бы то ни стало, к ней.

Часто говаривал он тем из товарищей, которые хотели его слушать:

– Возьму штык и пойду, и пойду! Грудь высокая, талия тоненькая, сила во-о-о... экой буду молодчина-то! Непременно буду воин! Только чувствую, – прибавил он со вздохом, – что головушку мне не сносить... что-то вот сердце щемит да и щемит, говорит мне, что немного погулять мне придется.

Или засучит обшлаг рукава, обнажит свою руку и, положив ее перед собою на стол, долго, долго сжимает и разжимает кулак, заставляя играть перед собой его мышцы.

Потом вскрикнет с улыбкой: «Эка махина!»

И, махнув рукой, встанет.

Однажды он чуть-чуть было не вызвал одного молодого человека на дуэль за то, что тот долго шептал другому на ухо. Что он шептал, Цветков не слышал; но слышал их громкий смех, и когда шептун ушел, юноша постучал себя по воротнику и воскликнул:

– Ох, если б не эта форма...

– Что ж бы тогда было? – спросил его кто-то.

– Если б я был в свете?! Неужели вы сомневаетесь, что была бы дуэль?

– Сомневаюсь, – отвечал другой.

Но Цветков так презрительно взглянул на окно и так ловко припрыгнул, пшикнув на дерзкого, что тот уже никогда не сомневался после этого.

На последний год его курса Федор Федорович, совершенно привязавшийся к Цветкову и любивший его военные наклонности, взял совсем его к себе в коричневый Домик, и там жили они тихо и мирно; вместе ходили на гулянье, и Федор Федорович любил следить за юношей сам, чтоб такое сокровище было сохранено для вступления в жизнь в чистоте и свежести. Цветков же охотно подчинялся дружескому влиянию Федора Федоровича, который, в свою очередь, советовался с ним иногда, спрашивая:

– Как вы, Цветков, об этом думаете? И Цветков отвечал:

– Да, я-с полагаю, Федор Федорыч, что вы очень хорошо придумали, – Вы думаете это?

– Ей-Богу, право, хорошо! И оба весело смеялись.

Иногда возникал у них разговор вроде следующего:

– Как вы думаете, Цветков, о вашей карьере?

– Я полагаю в военную.

– Почему же?

– Потому что я чувствую к этой службе большую страсть.

– Это хорошая дорога; но вы можете и в других местах

успеть.

– Вот, извольте видеть, Федор Федорыч... я вам сейчас объясню... Я русский, я люблю свое отечество. Ну, а ведь вы знаете, в чем больше всего всякая страна нуждается? В защитниках... это известно из истории.

– Как в защитниках?

– В воинах, то есть, в защитниках от нападения других народов.

– Да.

И немец долго задумчиво качал ногой.

– Да, – прибавил он потом через несколько времени, – это правда.

И долго думал добряк после этого о Цветкове и любовался, как тот, подпустив руки под фалдочки, гордо носился по комнате.

Вообще же разговаривали они мало, потому что оба были не говорливы; Ангст по натуре, Цветков отчасти тоже по натуре, а еще больше по усвоенной им привычке мало сообщаться с товарищами веселыми и ребячливыми, позволявшими себе безнаказанно смеяться над его павлиньей гордостью.

II

Но без женщины и у них, к несчастью, не обошлось.

Без околичностей скажу, что Николай Николаевич Васильев, тот самый секретарь, который так напал на методу Федора Федоровича, давно уж прочил дочку свою, Дашеньку, за Ангста. Мать Дашеньки была тоже немка. Девочка росла на глазах Федора Федоровича. Часто, когда она еще бегала в панталончиках и с двумя русыми косичками, болтавшими по спине, Федор Федорович с нежною ласкою сажал ее к себе на колени или затеивал с ней какую-нибудь игру, большую частью тихую, потому что сам ребенок был грустен и тих. Ангст был тогда в полном цвете лет, красоты и сил.

Когда Дашеньке пошел пятнадцатый год, отец стал посылать ее в пансион, где между прочими учителями преподавал и Федор Федорович. Ангст с той поры находился постоянно в молчаливом восторге перед чистым германским выговором Доротеи, ее скромностью и черными, круглыми глазами, которые странно и мило выступали на природно-бледном и сентиментально-прозрачном личике.

Что касается до ее отца, то он давным-давно хотел, чтобы дочь его была со временем женой Федора Федоровича.

Люблю немцев! – говорил он однажды, вздыхая и качая головой, – эх люблю... аккуратный народ! Слушай, Федор... скажи ты мне, брат, ведь у тебя на лице всегда какое-то до-

вольство! отчего это, брат?

Я часто грущу глубоко, Николай Николаич. Лицо обманчиво.

Грусть! что грусть? Это так только тебе кажется, Федор! а впрочем, и вправду, может быть грустно подчас. Это от холостой жизни. Тебе нужно жениться... эх, брат Федор, сказал бы я тебе штуку, да, пожалуй, и не понравится.

Ангст лукаво потряхивал ногой и ждал, чтоб он высказался.

– Или сказать? Ну, скажу. Кабы ты Дарью-то мою взял, как она выйдет из пансиона: спокойно бы тогда старик умер, ей-Богу, спокойно.

– Вы меня поразили, Николай Николаич! Признаюсь, это меня удивляет!.. я ужасно желал бы сам этого. Но Дарья Николаевна так молода, а я уж...

– В летах что ли? Эх, да кабы я в тридцать был таким, как ты теперь, то вот бы как спасибо сказал. Ну, теперь возьми ты меня, – продолжал он, махая руками, – что я? ну, что я?.. Хлам, чистый хлам; не понимаю, из чего жить хлопотал?.. Просто ни к чему. Что дом-то нажил? Да ты спроси, как я его нажил... это не то, что ты... ты благородный человек, Федор Федорыч.

– Но может быть, – задумчиво возражал Федор Федорович, – им кто-нибудь понравится... Против страстной любви, я полагаю, невозможно!..

– Вздор, – кричал Васильев, – вздор. Я сам женился по

любви... еще когда? когда у меня ничего не было... а какое наслаждение – решительно никакого... Как пошла по ребенку в год отсчитывать Марья Карловна-то... как завизжали... Вот тебе и любовь! а к столу-то что? Щи, каша, каша, щи, щи... А там Бог убирать их стал! Опять, говорит жена, горе... и плакса сама была. О-о, плакса покойница... Только вот что хорошо: аккуратна была! На кухню, в погреб, на рынок, в город, к горшку – везде сама... Ну, а я, грешник, признаюсь, смерть, бывало, не люблю, как от нее чем-нибудь кухонным пахнет. Решительно никакой поэзии не было! Так и в гроб пойду!

– Но вы боролись, Николай Николаич! Вы победили жестокость рока...

– Боролся? С судьбою-то? С чего ж ты это взял? – воскликнул отставной секретарь, презрительно отворачиваясь от него – Нет, не боролся, совсем не боролся, – отрывисто прибавил он.

Оба молчали.

– А как ты думаешь, брал я взятки, или нет? – спросил он, несколько погодя, Федора Федоровича.

Ангст не знал, что сказать.

– Молчи, молчи, брат... так и надо; сказал бы, что не брал, так я, у! как бы рассердился. Люблю правду! брал, брал, душа моя... как еще подчас и дурно брал...

Этакая бесхарактерность какая-то была... а не то, чтоб я зол был, или совсем бесчестен.

Кабы дома жить было по краснее, не брал бы...

И старик понурил свою седую голову...

– А теперь бок болит, да и болит... с тех пор, как от должности отставили. А ты знаешь, за что меня отставили?

– За что?

– За то, что я... Да вот, как дело было. Был процесс у помещика Лукутина с Поповой, помещицей, еще от мужа остался не кончен. Его-то статья была поправее...

Да богат, негодяй, был... Ходит, рожа, с цепью, бывало, мародер этакой! Он мне тысячку в руку... Я и того... Вдруг, брат, от Поповой-то записка. Я к ней... Просит, говорит, я не пожалею денег, сколько могу. Дом в деревне маленький у нее, да все так чисто, хорошо, сама, знаешь – этакое что-то приятное в лице, а уж лет тридцать на лицо, бледная, в черном шолковом капоте. Деток двое, просто ангелы. Я больше для детей... говорит, и повела меня в садик гулять. Я, признаться, забыл тогда, что есть Марья Карловна на свете. Кофею прежде напоила и повела в сад. И заплакала, как стала о детях говорить. Я сейчас: не тревожьтесь, сударыня! Я за правым делом не постою, Да в ее сторону и повернул оказию-то. Ну вот Лукутин в высшую инстанцию, да меня за неправости с места долой. Хорошо, что из-под суда-то избавили... А все-таки это значит, брат Федор, чувство у меня было! Вот ты, Федор, – продолжал Васильев после короткой задумчивости; – ты как-то здоров, Бог с тобою... Лицо у тебя цветущее, сердце доброе... честный малый... Жена с тобою

не пропадет; довольна будет, хоть бы даже совсем тебя не любила. Не в Москву же мне дочь везти! А здесь, что и есть на примете молодежи – все или дрянь, или богач. Куда мне с ней? Вот, хоть бы тот, Чиковский... знаешь Евлампия Иваныча сынишка-то? хвалят, что честен, на теплом местечке сидит, взятки не берет... не хочет грешить, зачем? честен... Да уж лучше бы он брал!.. Взятка взятке рознь... Взятки не берет, да и денег у него зато никогда нет. Все на перчатки и галстуки тратит; к начальнику ездит. Это, говорит, для карьеры полезно! а какая карьера? Видел я, как его у начальника-то принимают: с дверей, да со стенок пыль спиной сметает, шевельнуться не смеет... Так-то, брат Федор!

Незадолго перед смертью Николай Николаевич, лежа на диване, подозвал к себе дочь, которая тогда недавно только кончила пансионский курс.

– Дашенька, поди-ка сюда, – сказал он слабым голосом. – Надоел тебе старик, что ли? Все скрипит, да скрипит, а?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.